Зарина БИКМУЛЛИНА

*Москва*

Причастная

В какие бы мы гении ни вышли…

Александр Файнберг

я, стоящая на фотофинише века,

я, стоящая на вершине Маслоу,

я, стоящая между Спикой и Вегой,

не стоящая, впрочем, указанных выше слов,

я, не знавшая голода и бомбежек,

я, не вставшая в Бресте живым щитом,

я, не ставшая мылом, торшером из кожи,

не славшая писем в сгоревший отцовский дом,

я, не ходившая провожать эшелоны,

я, не укрывшая ленинградский ботсад,

я, не твердившая: пусть сейчас тяжело, но

за нами еще Москва, ни шагу назад,

я, не встававшая по сигналу сержанта,

я, не упавшая по сигналу сирен,

я, не шагавшая по чужим блиндажам до

тех дней, когда выдыхала весну сирень,

я, не залечившая шрамы на старой пашне,

я, не отпустившая – хоть и больней вдвойне,

я, не ощутившая, что поистине страшно,

не имею права писать стихи о войне.

Но я, одна из последних, даривших гвоздики,

благодаривших стандартно – за небо, за быт,

слушавших голос – старый, уставший и тихий,

не имею –

слышите! –

права о ней забыть.

Вид на жительство

Как будто опали снежинки тяжелым свинцом.

Как будто попали по пальцам, сломав и лишив.

Не глядя разбитой вчера амальгаме в лицо,

Я делаю вид, будто жив.

Крещенный под Аугсбургом, где-то гудит самолет,

Секунды меняют абстрактное «где-то» на «тут»

Я делаю вид, что люблю вместо чая лед,

А город твердит, что его никогда не сдадут.

Из масляных красок съедобней всего лазурь,

Но прусского много, а синего больше нет.

Я делаю вид, будто сна ни в одном глазу,

Как будто спасает от холода мой жилет.

Эскизы, альбомы, бумага и черная тушь –

Всего за минуту годы развеются в гарь.

Расчерчены окна следами витражных стуж,

И требует жертв от искусства блокадный январь.

Буржуйка сжирает прозрачный закат, акварель,

Стакан и обломки сиреневого куста.

Прости меня, девочка в платье цвета апрель,

За то, что сгораешь, срываясь с льняного холста.

На улицах взрывы, а в Урицке – дас ист гут.

Холсты умирают без звука, горят, не треща.

Прости меня, девочка, взрослые часто лгут,

Ведь я одуванчик когда-то тебе обещал.

Но рваные раны наносят на спины крыш,

И помощи нет опаленным пальцам в снегу.

Наивная девочка, ты-то меня простишь,

Но я отогреться потом никогда не смогу.

…Я делаю вид. Над замерзшей Невой – облака.

Бредущие люди, кажется, дочь и мать.

Я делаю вид на несломленный город, пока

Замерзшие кисти способны кисть удержать.

Я делаю вид, добавляю лазурь вдалеке,

Пока есть цвета. Если сможешь, прости меня,

Счастливая девочка с солнцем на стебельке,

Ведь я мог бы раньше достать тебя из огня.

Песнь радости и печали

Алкиона смеётся, она сегодня

зимородок, который ныряет в лёд.

Алкиона танцует в одном исподнем,

рукава расправляет в полуполет.

Алкиона вступает в холодный кафель,

разбивает крыльями белизну.

Погружается в лёд, несмотря на график,

чтобы холод шершаво ладонь лизнул.

Алкиона в фоны сплетает волны,

Алкиона поёт, ce caprice d'enfant.

До-диезов и после-бемолей полный,

по беззвучной клетке несется звон.

Доктор Сирин знакомится с ней в двенадцать.

Это значит, что стрелки смотрят наверх.

Стрелки смотрят, чтоб друг за другом гнаться.

Алкиона, представься, это четверг.

Алкиона знакомится с ложкой, чашкой,

ловит цепкими пальцами имена

и предметы. Что больно и то, что тяжко

удержать. Убегает за ними на

абордаж, мимо капищ до корня «ксено».

В кулаке зажимать лучше тик, чем так.

Пополняет тезаурус, ищет лексемы,

носит крестик и ноль на пустой чердак.

Изумрудные перья в аморфной куче,

окончания сорваны в крик ce capri.

Доктор Сирин считает: тяжелый случай.

Доктор Сирин считает: ирасссдватри.

Алкиона поет и ныряет в воду,

скоро клетку закат закроет платком.

Завтра доктор представит ей время года,

не давая знака, что он знаком.

Закрывая двери на все четыре

оборота, зайдя в двухкомнатный фон,

доктор Сирин в пустой ледяной квартире

машинально поет ce caprice d'enfant.

\* \* \*

самолеты не падают просто так.

гравитация им не мешает мотать

на мотор облака, пропустив от винта к

тому месту, где пульс дробится на пять.

самолеты редко боятся гроз.

загоняют турбинами в грудь озон,

от морозовых роз оставляя «Оз»,

потому что не знают запретных зон.

самолеты любят смотреть в темноту –

в этом разница. Ведь, несмотря на класс

(даже в Ту) и шампанское welcome to,

человечки без лиц, а точней – без глаз,

накрываются шторками. Под крылом –

города, разгоревшийся лоск от ты-

сяч бессонниц, ары и акры. Лом

старых пашен, разрезанных в лоскуты

неизвестным занудой. Но им легко

изменяться в голосе ли, в лице ль.

И влетают в сбитое молоко,

как стрела, летящая точно в цель.

В небо вылили латте, вспененный сон.

А под ним затаился локальный ад

и пульсирует лондонским колесом.

Безопасно, если держаться над,

страшно, если чиркнуть шасси об шоссе.

Человечков внутри беспокоит меню

(кроме латте, могу предложить глясе,

зубочистку, Рембрандта в стиле ню).

самолеты не падают просто так.

разве что рыжий ящик устанет писать

или темы закончатся. И пустота

протяженностью где-то в четыре часа

и пятнадцать минут захлестнет эфир.

Нет замены, тем более – тем. Разве что

пассажир в экономе заметит фирн

или шторм увидит сквозь пластик штор.

самолеты не могут играть в трагизм

и в отточенном жесте складывать жесть.

Крылья меньше защита, чем механизм,

потому, если падают, то – как есть.

потому и тоску, и рассвет, и ямб

бортовой самописец отправит в стол –

до тех пор, пока в горле одной из ям

не зажмурится и не выдохнет «сто»,

не завися от времени суток. Но,

усыпив телефон и блокнот включив,

пассажир и бессонница смотрят в окно,

чтобы лайнер все же остался жив.